

М.А. КОРЕЦКАЯ

**ВИРТУАЛЬНАЯ ВОЙНА
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ БИОПОЛИТИКИ ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ**

*Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда РГНФ
в рамках научно-исследовательского проекта «Амбивалентность власти:
мифологический, онтологический и практический аспекты» (№14-03-00218)*

В статье информационный и виртуальный характер современных войн рассматривается как эффект медиатизированной биополитики, поскольку окончательное утверждение биополитического диспозитива совпадает с тотальным распространением медиа, а актуальная биополитическая парадигма погружена в виртуальную среду и пронизана сетевой интерактивностью. Биополитика рассматривает человеческую жизнь как ключевой ресурс управления в рамках экономики потребления, однако война по-прежнему востребована как политический жанр. При этом чрезвычайное положение принимает характер системной ошибки и виртуализируется. Таким образом, можно говорить о плюралистической структуре любого события и об онтологической гибридности современного чрезвычайного положения.

Ключевые слова: *диспозитив власти, суверенная власть, биополитика, голая жизнь, чрезвычайное положение, виртуальная война*

Корецкая Марина Александровна – кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой философии, Самарская гуманитарная академия. E-mail: listarb@list.ru

M.A. KORETSKAYA

**VIRTUAL WAR
AS THE CONTINUATION OF BIOPOLITICS BY OTHER MEANS**

In the article the informational and the virtual character of the modern warfare is regarded as the effect of mediatized biopolitics, since the final approval of biopolitical dispositif coincides with the total spread of the media, and the current biopolitical paradigm is immersed in the virtual environment and permeated by network interactivity. Biopolitics considers the human life as a key resource of governance in the framework of consumption economy, but the war is still in demand as a political genre. In this context, a state of emergency assumes the character of a system error and is virtualized. Thus, we can speak of the pluralistic structure of any event and the ontological hybridity of contemporary emergency situations.

Keywords: *dispositif of power, sovereign power, biopolitics, bare life, state of emergency, virtual war*

Marina A. Koretskaya – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Philosophy, Samara Academy of Humanities. E-mail: listarb@list.ru

Как известно, концепт биополитики принадлежит М. Фуко, который с его помощью охарактеризовал диспозитив власти, актуализировавшийся в современности в целом вне зависимости от различий конкретных политических режимов. О диспозитивах у Фуко речь зашла в контексте целенаправленного ухода от метафизических мыслительных установок: вместо поиска неких универсалий и претензий на описание бытийной сущности власти, Фуко видел свою задачу в том, чтобы эксплицировать исторически конкретные распорядки, устройства, практики и техники власти, т.е. собственно диспозитивы, каждому из которых присущ своеобразный тип конструктивности и репрессивности, своеобразный способ

управлять собой и другими, определённая конфигурация субъектности. Скорее, наметив генеалогию биополитики в общих чертах [8], чем описав этот диспозитив в подробностях, Фуко оставил широкое поле для дальнейших исследований, особенно, учитывая тот факт, что биополитика с XVIII века и до сегодняшнего дня едва ли имела шансы остаться внутренней однородной, коль скоро изменились и повседневные практики, и среда. Очевидно, что окончательное утверждение биополитического диспозитива совпадает с тотальным распространением медиа, а актуальная биополитическая парадигма погружена в виртуальную среду и пронизана сетевой интерактивностью. Эта корреляция едва ли случай-

на и она нуждается в подробном анализе, что позволит эксплицировать парадоксальность современного диспозитива власти. Биополитика характеризуется тем, что рассматривает человеческую жизнь как ключевой ресурс управления, причём в рамках экономики потребления, а вовсе не суверенных престижных трат, когда-то черпавших легитимность в прямом и откровенном кровопролитии. Биополитическая власть озабочена, прежде всего, безопасностью населения и обосновывает свою легитимность способностью эту безопасность обеспечивать, однако война (и шире – чрезвычайное положение, о котором столь подробно и столь тревожно пишет Дж. Агамбен [2]) по-прежнему весьма востребована как политический жанр. Другое дело, что в рамках современной биополитики чрезвычайное положение принимает характер своего рода системной ошибки и виртуализируется. Речь не идёт о том, что реальной войны нет, а есть только сконструированные медиаобразы войны, виртуальные симулякры в духе фильма Барри Левинсона «Хвост виляет собакой». Речь о типичной для современности плюралистической структуре любого события и об онтологической гибридности современного чрезвычайного положения.

Сначала остановимся подробнее на биополитике. Фуко М. как исследователь, стоящий на постструктуралистских позициях, видел в истории не монотонную поступь гегелевского Абсолютного Духа, а разрывы и смещения в значительной мере случайные, ситуационные. Почему ему и важно было уйти от стадильной логики, подчеркнув множественность диспозитивов, их несводимость друг к другу и единой линии эволюции. Соответственно, в качестве ключевого разрыва, конституирующего современность, он и обозначил смещение от суверенного типа власти, для которого ключевым моментом являлось право причинять смерть (отбирать жизнь) [7, с. 238] к биополитике, для которой принципиален тотальный контроль над жизнью. Иными словами, биополитика, коррелирующая с современным типом капитализма, рассматривает жизнь, прежде всего, как экономический ресурс, ценность, которую следует охранять и всячески способствовать её приращению. Поэтому жизни не должны больше быть предметом непроизводительных трат, что было типично для самоутверждения суверена эпохи средневековья. Фуко обращает внимание на то, что живые тела как предмет властных манипуляций, подвергаясь теперь не столь-

ко захвату и умерщвлению, сколько контролю и управлению, стали иначе концептуализироваться. В том смысле, что трансформировалось представление об их основной субстанции: ресурсоёмкая сексуальность вытеснила из зоны властного внимания сакральную кровь. Таким образом, все эти трансформации позволяли Фуко утверждать, что действительно произошла смена диспозитива, оставив (к добру или худу) суверенный тип власти в прошлом.

Однако Дж. Агамбен в своей серии книг «*Homo sacer*» полемизирует с М. Фуко в вопросе о том, насколько далеко ушёл биополитический тип власти от суверенного. При этом он отталкивается от печального известного причастностью к Третьему Рейху шмиттовского децизионизма (от нем. *Dezision* – «решение»). Определение Шмитта таково: «суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении» [9, с. 15]. Дело в том, что суверен традиционно понимался как гарант действительности права и закона, однако для этого он сам должен был располагаться выше закона и права, логически предшествовать ему и выходить за его границы. Его полномочия включали в себя применение так называемого легитимного насилия, которое считалось приемлемым и оправданным, поскольку речь шла о самосохранении государства (и самого суверена), прежде всего, в неких критических обстоятельствах. При этом, поскольку нет никаких внятных критериев определения того, что такое критические обстоятельства и когда именно пора вводить особый режим, по сути, имеет место некий перформативный акт, одним жестом указующий на фигуру врага и устанавливающий режим чрезвычайных полномочий. Чрезвычайное положение представляет собой состояние аномии, при котором нормы права приостановлены, а, значит, как поясняет, вскрывая все шмиттовские импликации, Дж. Агамбен, любая жизнь может быть отнята, и при этом убийство не будет считаться преступлением. Агамбен утверждает, что биополитика сохраняет апелляцию к суверенному решению и нуждается в режиме чрезвычайного положения. Весь вопрос в том, для чего? Парадоксальным образом для того, чтобы вычленил феномены, присущие всем живущим, составляющим население, вычленил жизнь как управленческий ресурс. [1, с. 187-188]. Это только кажется (и не в последнюю очередь именно благодаря привычке к биополитической оптике), что жизнь есть некая объективная, природная данность, и дана она естествен-

ным образом как биологическая субстанция, к которой потом примеряется власть, чтобы её дрессировать, «окультуривать», извлекать из неё полезные эффекты, эксплуатировать. «Голая жизнь» – это такой же конструкт, как и сексуальность, с той поправкой, что в отличие от эротически изощрённой сексуальности, сложно организованной практиками заботы о себе, элементарность голой жизни есть результат принудительной редукции социального индивида к только-лишь-жизни, жизни вне права и закона, статуса и связей, в конечном итоге «жизни, недостойной быть прожитой» [1, с. 173]. Без операции маркировки и исключения части социального тела в качестве голой жизни не только суверенность, но и дорожащая ценностью жизни биополитика не может быть конституирована. Поэтому биополитический диспозитив не только запускает жизнь в производство, но, как говорит Агамбен, прибегает к террору, примером чего являлись, прежде всего, нацистские концлагеря, конвейерным способом производившие и уничтожавшие голую жизнь. И, что хуже всего, чрезвычайное положение, коль скоро в его основе лежит в значительной степени произвольность решения, имеет тенденцию растягиваться во времени и пространстве до состояния нормы. При этом современные демократии с лёгкостью впадают в состояние диктатуры, а это значит, что лагеря не остались в прошлом, они представляют собой биополитическую парадигму современности, а некие формы террора пронизывают собой повседневную жизнь. Самый парадоксальный образ, когда политический дискурс концептуализирует жизнь как ценность, он тут же вторым шагом превращает её в «голую жизнь» как объект и одновременно эффект суверенного решения. Или, в терминологии С. Жижека: голая жизнь (жизнь исключённых из общества) есть непристойная, но необходимая изнанка постполитики, открыто заявляющей о том, что её целью является забота о жизни как ценности [4, с. 103]. Это, безусловно, наводит на тревожные размышления о перспективах современного гуманизма, но мы вернёмся к этому вопросу чуть позже.

И всё же биополитика, особенно в её редакции XXI века, не есть простое продолжение или развитие суверенного диспозитива – иными словами, имеют место определённые смещения и различия. В качестве различий можно наметить следующие 4 пункта.

1. Исходно суверенность обосновывалась сугубо теологически: *suprema potestas*

как верховная власть предполагала, что монарх занимал то самое место, которое в силу трансценденции не мог занимать Бог, отсюда и связка суверенного решения с беньяминовским «божественным насилием», и перформативный характер этого решения. В рамках актуальных форм биополитики суверенность десакрализуется, по крайней мере, в значительной степени. Весьма часто употребляющееся понятие суверенитета курсирует в публичной сфере как светское или «как бы» светское, без прямого отсыла к теологическому обоснованию. Источником и субъектом суверенности объявляется народ, что и записано в конституциях подавляющего большинства стран.

2. Суверенный тип власти был привязан к субъектным формам. Теологический фундамент суверенности уже предполагает некую субъектную форму: в известном самоименовании Суверена с большой буквы – «Аз есмь Сущий» – в свернутом виде присутствует большинство заветных формул, характеризующих парадигму субъекта высказывания, действия и собственно власти. Если власть есть там, где есть решение, то, стало быть, есть тот, кто решает, есть воля (с причитающимися ей интересами, целерациональными конструкциями и устремлённостью). Она же нередко требует для ощущения эффективности управления «сильной руки» (отсюда неизбывный фантазм российской политической культуры). В этой логике властные отношения могут считаться осмысленными, а значит и приемлемыми, когда есть надежда различить за ними пусть призрачного и даже злонамеренного, но субъекта. Славой Жижек пишет про интерпассивность и наслаждающегося за наш счёт Большого Другого, видя в этом изнанку эфемерной активности успешных индивидов [5, с. 200-210]. Однако вполне может оказаться, что никакого Наслаждающегося нами Другого нет и в помине, и вот тогда-то при его отсутствии неминуемо начинает казаться, что пресловутый гоббсов Левиафан-государство погружается в пучину кафкианского бреда. Иными словами, если культура пережила деструкцию субъектных форм, с чего бы им остаться невредимыми в сфере политики? В конце концов, фигура вождя, харизматического лидера, поданная за чистую монету, даже если на неё есть определённый массовый запрос, кажется неправдоподобно архаической в современном сетевом мире.

3. Вполне логичная (если не сказать онтологичная, экзистенциально обоснованная) для суверенного типа власти связ-

ка свободы и насилия именно в рамках биополитики становится неразрешимой проблемой вплоть до того, что сам концепт суверенности окружается гуманистическими заклинаниями, подтекст которых самым симптоматичным образом замалчивается. Суверенная логика такова: право на свободу (слова, совести, самоопределения, право быть господином самому себе, право принимать решения) напрямую обосновывалось готовностью умирать и убивать за неё. Биополитика серьёзно меняет акценты, заменяя корреляцию «свобода – сакральность крови» на другую, вроде бы похожую, а главное, более чем оправданную в постосовещенческой перспективе корреляцию «свобода – святость жизни». То есть человеческая жизнь как высшая ценность – это одновременно и гуманистический принцип, и экономическая установка биополитики, и едва ли удастся отделить одно от другого. Героический энтузиазм нам кажется подозрительным, сегодня нельзя легитимно жертвовать кем бы то ни было ради чего бы то ни было, террор неприемлем, мы мирные, просвещённые и гуманные, и в наши планы никак не входит ни своя, ни чужая смерть, и это не трусость, это этическая позиция, но, с другой стороны, наша субъектность максимально уязвима и скорее виртуальна, чем актуальна. Стоит только усомниться в экзистенциалистском априори, что человек обречён быть свободным по самой онтологической конституции *Da-sein*, и вопрос о том, каково наше практическое отношение к нашей свободе, угрожает окантаться патовым.

4. Здесь мы переходим к четвёртому пункту. Биополитика привносит в суверенность элемент отчуждения, поскольку последний свойственен капитализации как таковой и капитализации жизни в том числе. Всякий индивид априори суверенен, каждый рождается, уже «упакованный» в права человека, однако реальный опыт суверенности систематически исключается как опасный нелегитимный. Наши права человека гарантирует нам только государство, заботясь о нашей же безопасности, и потому-то в ситуации анонии мирный налогоплательщик, преуспевающий индивид, привыкший к тому, что он личность со своим неповторимым миром и мнением обо всём происходящем, абсолютно беспомощно скатывается к «голой жизни» как объекту насильственных манипуляций. Другая сторона всё той же проблемы отчуждения суверенности: порочная черта представительной формы демократии, при ко-

торой источником суверенитета является народ, право на доступ к принятию решений формально есть у каждого, но по факту решения принимает замкнувшаяся в себе политическая элита.

С учётом всего сказанного можно сделать вывод о том, что при актуальной форме биополитики чрезвычайное положение не то, чтобы тотально распространяется, как говорил Агамбен, а именно виртуализируется. Под виртуальным вслед за Ж. Делезом [3] здесь понимается не симуляция, противостоящая реальности, а режим плюралистической онтологии, предполагающий множество сосуществующих миров, каждый из которых не менее и не более реальный, чем все остальные. Эти миры коррелируют сетевобразно и по ним перемещается, кочует пустая клетка (мерцающий субъект, событие, нонсенс, разворачивающийся в серии смысловых эффектов). Эта модель не просто неплохо описывает медиаконтекст актуальной модели биополитики, но и позволяет понять, что вне сетевых медиа биовласть как она есть сейчас попросту была бы невозможна.

В этом контексте и можно говорить о виртуальной войне как продолжении биополитики другими средствами. Жижек С., в каком-то смысле развивая знаменитый тезис Делеза-Гваттари «машины работают, всё время ломаясь», говорит о системной ошибке, о симптоме как истине системы. Исключение системно необходимо как точка, в которой всеобщий принцип перестаёт действовать, иначе нарушилась бы целостность системы. В практическом смысле это означает, что внутренняя структурная динамика гражданского общества непременно порождает класс, который лишён его благ, а борьба с препятствиями необходима как источник жизненной силы [5, с. 219-220]. В и этой же логике террор выступает как необходимое, но вытесненное условие, которое поэтому принимает легальную форму войны с терроризмом. Террор должен быть виртуален – реален везде, но в качестве угрозы, и локален в качестве Страсти Реального (невозможного, непереносимого опыта, абсолютного зла) в отдельных спорадически возникающих зонах.

При общей биополитической установке на недопустимость насилия и террора война квалифицируется как гуманитарная катастрофа, скорее как катаклизм, чем конфликт, поскольку последний не пристало открыто инициировать, а ввязываться можно только на реактивных основаниях ответа на агрессию. Имен-

но биополитика риторику жертвы делает выигрышной, а потому столь высок запрос на медиальное присвоение статуса жертвы и на признание этого статуса мировым сообществом [6, с. 271]. В биополитической логике фигуру врага нельзя конструировать, не отталкиваясь при этом от фигуры жертвы. И эта биполярная конструкция открывает собой измерение политического как измерение агонального соперничества. Для сравнения заметим, что фигура жертвы отсутствовала в шмиттеанской модели политического, что само по себе уже красноречиво свидетельствует о трансформации диспозитива. Можно сказать и так: в виду отсутствующей фигуры однозначного субъекта суверенного решения, когда случаются emergency situations, многочисленные агенты действия перераспределяют ответственность и присваивают последствия. Причём никто не может присвоить их полностью и без остатка хотя бы даже временно. Опять же для сравнения: Нюрнбергский Процесс был состоявшимся актом присвоения и утверждения события в его однозначности, что делало возможным дискурс Истории. Современный плюрализм в трактовке того, кто является агрессором, кто жертвой в каждой конкретно конфликтной зоне, если и выглядит как шаг в сторону реалий многополярного мира, но едва ли воспринимается как торжество демократии и очередное достижение проекта Модена. Итак, открыто выступать инициатором конфликта нельзя, но апеллировать к нему и присваивать его можно и нужно, это удобный и эффективный аргумент внутреннего управления и внешней конкуренции. Например, аргумент от безопасности, одинаково востребованный (при различии стратегий) и либеральной моделью, и моделью «сильного» государства, использующего дискурс государственного интереса. Биополитическая власть включает с населением прежде всего пакт о безопасности, поэтому важно напоминать слишком автономным в своих мечтах налогоплательщикам, что только оно способно противостоять террору и стихийным бедствиям, а стало быть, гарантировать индивиду сохранение его прав и свобод. А потому заплати налоги и спи спокойно. Не говоря уже о том, что усиление контроля в рамках заботы о безопасности предполагает правильно выверенную дозу общей тревожности.

Современная биополитическая война – это война не за пустые территории с освобождёнными ресурсами, это война за рынки сбыта, за потребителя, который дол-

жен быть живым, чтобы потреблять и желательно быть достаточно обеспеченным. Потребитель, налогоплательщик, пользователь – главная ставка в такой войне, поэтому основное поле битвы подобно украденному письму Алана По всегда не там, где его ищут или демонстрируют, и оно закамуфлировано тем лучше, чем больше на виду в медиапрозрачной среде находится. Современное чрезвычайное положение к счастью не нуждается в Освенциме с его основательной инфраструктурой, но это совсем не значит, что оно не нуждается в зонах анонии. Современная форма террора характеризуется тем, что эти зоны emergency возникают точно, где угодно, когда угодно, сколь угодно быстро и при этом за счёт медиасредств получают мгновенный глобальный резонанс, доносясь в качестве весомого аргумента до целевой аудитории (так называемых «таргет-групп»). Такие зоны с трудом локализируются и это именно ризоматический эффект. Если любое событие сейчас – это медиасобытие, и любая война является, в том числе, и войной информационной, то речь вовсе не о том, что произошедшее потом реально подложит ангажированной медиарепрезентации. События имеют тенденцию сразу происходить с учётом он-лайн режима, и другого уже просто не дано. Если функционирование концлагеря было своего рода непристойной тайной и не предполагало медиатрансляцию на широкую публику, то теракт и современные горячие точки сразу включают в себя компоненту медиареzonанса. Это сразу зрелище, цель этой практики не те, кого убивают (как это ни цинично, но жертвам приурочена роль лишь аргумента), а те, кто будет зрелище потреблять.

К тому же это осетевление событий значит, что события стали фрактальными, и они сразу происходят во множественных перспективах. Если раньше, например, после магических слов «от советского информбюро...» следовала однозначная истина о том, как обстоят дела на самом деле (понятно, что имел место конструкт, но этот конструкт обладал статусом объединяющей всех истины), сейчас ситуация иная. Официальная версия событий существует как раз для того, чтобы никто её не принимал за чистую монету, её допускают постольку, поскольку тем, кто должен сохранять лицо для общего блага лучше предоставить возможность это лицо сохранить. При этом до и помимо этой официальной версии мы приобщаемся к версиям оппозиции, отечественных и зарубежных экспертов, независимых СМИ, блоггеров, очевидцев и

как бы очевидцев, а также пользователей с их комментариями. Как известно, одна из ключевых характеристик реальности – это её внутренняя связность, непротиворечивость. Виртуализация событий как раз и заключается в том, что их обильный информационный след настолько фрактален, что не может быть рассказан как линейная история и не может уложиться в единую картину без лакун, противоречий, лишних деталей. Не то, чтобы бытия вне медиа нет вовсе, но оно субрепрезентативно, как и положено Реальному, а репрезентации сразу множественны. Бомбардировки Алеппо являются фактом, но эти факты по своим характеристикам и структурным функциям в каком-то смысле напоминают «хазарскую полемику» в известном романе Милорада Павича «Хазарский словарь». Событие полемики имело место (в художественном мире этого произведения, разумеется), но все три участвующие стороны (представители христианства, иудаизма, ислама) были уверены, что именно они в ней победили. И, соответственно, пустая точка таинственного события «Х» разворачивается в три мира, каждый из которых обладает внутренней связностью и самостоятельностью перспективы, но их нельзя назвать параллельными, поскольку они связаны гиперссылками ещё и друг с другом. Эта павичевская модель события перестала быть только лишь литературным приёмом, она вполне узнаваема в структуре новостных сообщений. Поэтому пользовательские стратегии заключаются либо в том, что пользователь откликается на зов той или иной интерпелляции и получает «эксклюзивную» перспективу оценки заодно с идентичностью, либо кропотливо

восстанавливает перспективы и контексты высказываний, а поскольку такая задача по причине фрактального характера информационной среды не выполняется, рано или поздно устаёт и переключается на новый информационный повод. Но в любом случае инвестирование времени жизни, желания и интереса (этих лаковых биополитических ресурсов) в социальную машину состоялось.

Список литературы

1. Агамбен Дж. Номос sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Научный редактор Д. Новиков. – М.: Европа, 2011. – 256 с.
2. Агамбен Дж. Номос sacer. Чрезвычайное положение / Научный редактор Л. Воронин. – М.: Европа, 2011. – 148 с.
3. Делез Ж. Актуальное и виртуальное // Альманах «Восток». – 2006. – № 3(39). – URL: http://www.situation.ru/app/j_art_1124.htm (дата обращения: 12.05.2016).
4. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. – М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. – 160 с.
5. Жижек С. Чума фантазий / Пер. с англ. – Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. – 388 с.
6. Савчук В. Медиафилософия. Приступ реальности. – СПб: Изд-во РХГА, 2013. – 349 с.
7. Фуко М. Право на смерть и власть над жизнью / Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Составление, перевод с французского, комментарий и послесловие С. Табачниковой. – М.: Касталь, 1996. – С. 237-268.
8. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / Пер. с фр. А.В. Дьякова. – СПб.: Наука, 2010. – 448 с.
9. Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете / Шмитт К. Политическая теология. Сборник / Переводы с нем. Заключит. статья и составление А. Филиппова. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. – С. 11-98.